

МАРИЯ СТЕПАНОВА

Книги Марии Степановой:

Проза

Памяти памяти, 2017

Эссе

Один, не один, не я, 2014

Три статьи по поводу, 2015

Стихи

Песни северных южан, 2001

Близнецы, 2001

Тут-Свет, 2001

Счастье, 2003

Физиология и малая история, 2005

Проза Ивана Сидорова, 2008

Лирика, голос, 2010

Стихи и проза в одном томе, 2010

Киреевский, 2012

Spolia, 2015

Против лирики, 2017

Мария Степанова

Против нелюбви

Издательство АСТ

Москва

2019

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
С11

*Издательство выражает благодарность еженедельнику
«Коммерсантъ Weekend» ИД «Коммерсантъ»
за содействие в издании книги*

Степанова, Мария

С11 Против нелюбви / М.М. Степанова. –
Москва: Издательство АСТ, 2019. – 288 с. –
(Эксклюзивное мнение)
ISBN 978-5-17-110963-9

Книга Марии Степановой посвящена знаковым текстам и фигурам последних ста лет русской и мировой культуры в самом широком диапазоне: от Александра Блока и Марины Цветаевой — до Владимира Высоцкого и Григория Дашевского; от Сильвии Плат и Сьюзен Зонтаг — до Майкла Джексона и Донны Тартт.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Мария Степанова, текст
© Сергей Мелихов, фото на обложке
© Кирилл Ильющенко, дизайн, верстка
© ООО «Издательство АСТ»
ISBN 978-5-17-110963-9

Содержание

Позавчера сегодня / <i>Александр Блок</i>	7
Разговоры в царстве мертвых / <i>Любовь Шапорина</i>	25
Прожиточный максимум / <i>Марина Цветаева</i>	41
Что там увидела Алиса / <i>Алиса Порет</i>	83
Бронзовая бабушка / <i>Сельма Лагерлеф</i>	97
Божественный голод / <i>Сильвия Плат</i>	107
Последний герой / <i>Сьюзен Зонтаг</i>	115
Little black boy / <i>Майкл Джексон</i>	131
Родина щегла / <i>Донна Тартт</i>	143
Поэма без автора / <i>Александр Блок</i>	157
На послесмертие поэта / <i>Владимир Высоцкий</i>	175
О смерти и немного до / <i>Григорий Дашевский</i>	187
С той стороны / <i>В. Г. Зебальд</i>	225
Предполагая жить / <i>Александр Блок</i>	251
Против нелюбви	275

ПОЗАВЧЕРА СЕГОДНЯ**1**

*Петроградское небо мутилось дождем,
На войну уходил эшелон.
Без конца — взвод за взводом и штык за штыком
Наполнял за вагоном вагон.*

*В этом поезде тысячью жизней цвели
Боль разлуки, тревоги любви,
Сила, юность, надежда... В закатной дали
Были дымные тучи в крови.*

*И, садясь, запевали Варяга одни,
А другие — не в лад — Ермака,
И кричали ура, и шутили они,
И тихонько крестилась рука.*

*Вдруг под ветром взлетел опадающий лист,
Раскачнувшись, фонарь замигал,
И под черною тучей веселый горнист
Заиграл к отправленью сигнал.*

*И военной славой заплакал рожок,
Наполняя тревогой сердца.
Громыханье колес и охрипший свисток
Заглушило ура без конца.*

*Уж последние скрылись во мгле буфера,
И сошла тишина до утра,
А с дождливых полей все несло к нам ура,
В грозном клике звучало: пора!*

*Нет, нам не было грустно, нам не было жаль,
Несмотря на дождливую даль.
Это — ясная, твердая, верная сталь,
И нужна ли ей наша печаль?*

*Эта жалость — ее заглушает пожар,
Гром орудий и топот коней.
Грусть — ее застилает отравленный пар
С галицийских кровавых полей...*

Это, едва ли не главное русское стихотворение о Первой мировой войне было написано Блоком 1 сентября 1914 года и напечатано три недели спустя, 22 сентября. С публикацией, как ни странно, вышла история: поначалу Блок предложил стихи в кадетскую «Речь», и там ему отказали. Возможно, дело во втором стихотворении, шедшем парой с «Петроградским небом», — «Грешить бесстыдно, беспробудно...», где Россию приходится любить «и такой»: вопреки всему. Но интересней предположить, что уже первые читатели (соредакторы «Речи» Гессен и Милюков) поняли стихи об уходящих на фронт иначе: не так, как их задумывал Блок. Кадеты только что влились в патриотический мейнстрим, либерал Милюков публично пожал в Думе руку черносотенцу Пуришкевичу, и убыточная интеллигентская газета резко сменила курс. От военного текста теперь требовалась полная однозначность. Возможно, Блоку стихи однозначными и казались; вышло по-другому.

Отказ на судьбу стихотворения никак не повлиял, через несколько дней оно было опубликовано в «Русском слове», тогдашней «Ленте.ру» — фабрике новостей с неверо-

ятными, в сотни тысяч, тиражами. Это не последний раз, когда Блок печатается в «Русском слове»: в 1915-м там выделяют целую полосу для поэмы «Соловьиный сад» — жест беспрецедентный и по тем, и по нынешним временам. Но мне здесь важно скорее вот что: Блок, значит, видел «Петроградское небо» как стихи газетные, написанные в режиме срочно-в-номер и в том же темпе имеющие быть прочитанными. Видел, считал важным поскорей напечатать, получил отказ, сразу предложил другому изданию — и отмечал потом в записной книжке: «Мои стихи в “Русском слове”».

У газетных стихов обычно есть простой и грубый смысл, какое-то *ура* или *долой*, за или против, которые и заставляют автора идти с ними в места общего пользования — массовой и быстрой публикации. Это своего рода то, что я должен сказать, эквивалент подписи под петицией, попытка перевести слово в дело, пусть и на собственных условиях. Такой жест, от «Речи» до фейсбука, подразумевает две вещи: первая — автор исходит из того, что миру небезразлично его мнение по поводу, вторая — это мнение можно (со всеми неизбежными потерями) перевести на язык плаката «Нет войне». Или «Да войне», что было общим местом внутренней и публичной речи летом 1914 года.

Лето было жаркое, обычное, на дачах пили чай и говорили о политике. Есть известная байка о том, как Пастернак с Балтрушайтисом решили разыграть Вячеслава Иванова, важного, козлобородого; и вот они залегли в дачных кустах и пол-ночи ухали совой. Наутро Иванов

вышел к завтраку взволнованный: «Вы слышали, как кричали совы? Так они всегда кричат перед войной». И все посмеялись, тут-то все и кончилось.

В тогдашних письмах и дневниках очень четко прочерчена граница перехода вещей из одного состояния в другое: из заурядной повседневности с ее вечными поводами для уныния («Тоска и скука. Неужели моя песенка спета?», — записывает Блок в записной книжке, это июнь) в реальность, в которой скука сменилась на что-то иное. Двадцатый век подхлестнули, и он разом встал под ружье. Наблюдать за тем, как это происходило, страшно даже с расстояния в сто лет.

Этой весной мне пришлось по случаю держать в руках телеграммы, которыми в последние предвоенные дни обменивались главы европейских царствующих домов, и в милейших «dear Nicky» и «dear Georgie», в этом привычном семейном куковании за часы до того, как все рухнет и посыплется, есть какая-то особая жуть — кажется, что не приятные черно-белые люди запустили маховик современности, а она сама вырвалась из рук и пошла, пожирая версты и жизни.

Блоковские стихи написаны после своего рода наводки на резкость — изнутри этой самой внезапно наступившей современности, о чем там и сказано аршинными, если не огненными, буквами. Петроградское небо мутилось дождем, две недели назад столица была спешно переименована, -бург с его немецким привкусом пришлось заменить на -град, громили немецкие лавки, топили в Мойке бронзовых коней, украшавших немецкое посольство, пятнадцатилетнему Косте Вагенгейму сменили фамилию на Вагинов, с нею он всю

жизнь и проходил. О таком в стихах нет, в первой публикации они называются «На фронт» и начинаются как документ, как прямой перевод из реальности в текстовый формат. 30 августа Блок записывает: «Мы обедаем у мамы в Петергофе. — Эшелон уходил из Петергофа — с песнями и ура». Через день, 1 сентября, было написано «Петроградское небо», которое значило тогда что угодно, только не привычный нам текст о последних минутах старого мира.

Странным образом эти блоковские стихи и становятся собой (тем, к чему мы привыкли) лишь в ретроспекции, во взгляде, обращенном назад из точки сегодняшнего стояния, когда все уже совершилось и читатель слишком хорошо знает, что было дальше. Здесь что-то вроде входа в тоннель, здесь начало дуги, по ту сторону которой стоят манделыштамовские «Стихи о неизвестном солдате», накануне предыдущей войны подводящие итог оптовым смертям первой. Это своего рода постскриптум к блоковскому тексту, но написанный уже на языке нового века, предельно сгущенный, но имеющий дело с тем же материалом. Дождь, неприветливый сеятель, идет в 1937-м поверх дождя из августа 14-го, *лесистые крестики, что метили/Океан или клин боевой*, — эхо тех дождливых полей. «И тихонько крестилась рука».

Блоковские стихи и сами работают как эхо, продолжая себя из строфы в строфу путем повторов и ауканья — опорные слова подхватываются здесь, на очень небольшом пространстве, не раз и не два. Блок говорит где-то об устройстве стихотворения примерно так: стихотворный текст вроде покрывала, растянутого на остриях нескольких слов,

сияющих как звезды, ради них-то все и делается. В истории с «Петроградским небом» эти главные слова как бы не в силах не возвращаться, не возникать снова и снова. И это не только «ура», повторенное здесь трижды: ура вроде как и положено самовоспроизводиться; сюда же и «пора» (разобраться с противником, видимо), выделенное в тексте стихотворения курсивом. Подхваты — что-то вроде сетки, по которой вкось движется текст; начальное поступательное «взвод за взводом и штык за штыком» — и наклонная штриховка, похожая на дождь, продолжается с каждой новой вводной. Почти каждому слову мало прозвучать один раз; за «тучами в крови» непременно возникнет «под черною тучей горнист заиграл», полям соответствуют поля, на «жаль» отвечает жалость, всему сущему есть рифма, все повторяется не единожды, старый мир напоследок сам себя окликает. Рожок, который военную славой заплакал, — родственник военной флейте, державинскому снигирю. Галицийские кровавые поля пришли прямиком из Жуковского: «Англичанин разбит, англичанин бежит/ С Анкрам-морских кровавых полей», и в патриотическом стихотворении это выглядит как странноватое «мальбрук в поход собрался» — так, словно автор не вполне властен над собственным текстом и стихотворение пишется само собой, перекакивая с одного опорного камушка на другой, и его предчувствия и выводы не имеют ничего общего с блоковскими.

Эти стихи, повторюсь, вроде как принято воспринимать как «антивоенные» — так, словно весть о гибели была заложена в них с самого начала; словно наше школьное

знание о том, чем все это кончится, уже было доступно Блоку 1 сентября 1914-го. Эта аберрация естественна, и дело не только в том, что мы прочно отучены радоваться любой войне, и русская патриотическая — другой не было — лирика первых военных месяцев, от Кузмина и Георгия Иванова до Сологуба и Городецкого, вызывает острое чувство неловкости.

Есть и мандельштамовский текст того же времени, не самый хороший, «В белом раю лежит богатырь...» — там все понятно, и простое, как пряник, стихотворение совсем не вселяет этой тревоги, ощущения двуслойности, двусоставности. «Радуйся, ратник, не умирай, / Внуки и правнуки спасены», ну да, понятно. Мучительность блоковских стихов, то, что не дает им упокоиться (а читателю успокоиться), — в том, что их никак не удастся дочитать до дна.

Если перевести этот текст на язык газетных смыслов, то сразу за документом, за дождем из штыков, за последним парадом (идущих на смерть, поющих «Варяга») там идет речь о следующем. Эти тысячи жизней, уходящих под вой рожка, это множество, опадающее как единый лист, — добровольная жертва своего ура и пора. Нам — остающимся, свидетелям, Блоку — «не было грустно, нам не было жаль»: ясная, твердая сталь необходимости всякую жалость отражает. Там есть еще один эпитет, и вот я пытаюсь вспомнить его, не заглядывая в текст. Ясная, твердая, какая еще? может быть какая угодно — верная, вечная, вещая сталь, не нуждающаяся в печали, сталь крови и почвы, до которых уже недалеко, строчки четыре. Стихи об исчезновении (а исче-

зает тут все, к чему можно прикоснуться словом, по ходу текста, по ходу поезда множество твердых и непрозрачных вещей истончается до состояния марлевого бинта — и в первую очередь сам старый мир с его жуковскими и державинскими, старое умение писать стихи) упираются в ясную и верную стенку. У этой стенки автор призывает отказаться от жалости во имя мести. Тут точка входа, где стихи об уходе в небытие вдруг совпадают с контуром басни (так вот зачем все это говорилось!) и выводят на сцену обязательную мораль, а она — по ошибке, по старой памяти — дергает за веревочку, и картонный домик обвалится, чуть помянешь кровавые поля.

Так это все и читается: в два слоя, как два полужнакомых друг с другом, чужеватых друг другу текста. Что здесь удивительно — это степень авторского неведения и ведения, которым при этом наделен сам стих. Два сюжета попеременно заступают дорогу один другому, переплетаясь, перемешиваясь, но ни разу не совпадая.

Такое ощущение, что стихотворение подменили в колыбели, заменили военный рожок на шарманку, марш на романс, ура на паровозное ууу. Грубо говоря, поезд начинает путь, но не приходит в пункт Б, рельсы еще не проложили или уже разобрали, реквием никак не соглашается обернуться стихами о войне до победного конца. Эта расфокусированность, это отсутствие решительного контура создают что-то вроде воронки, заставляя возвращаться к стихотворению еще и еще раз, искать и не находить — что? другое стихотворение, такое же, но другое, с другим выводом-выходом.